

# Второе солнце

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

**Второе солнце**

«Автор»

2026

## Сероусов Э.

Второе солнце / Э. Сероусов — «Автор», 2026

На намывной отмели в трёх километрах от приморского города консорциум «Арколайт» готовится зажечь первый в мире термоядерный реактор нового типа — «самоармирующуюся решётку». Инженер удержания Глеб Воронин накануне розжига обнаруживает, что отец Аркадий, руководитель проекта, втайне поднял уставку контура за красную черту. Соруководитель безопасности Майя Лернер давно предупреждала: у этой решётки нет состояния «выключено». Её выводят со станции с охраной. Розжиг проходит по плану — и тут же выходит из-под контроля: над морем встаёт второе солнце. Кнопки «выключить» не существует. Повесть о цене инженерной гордыни, о молчании, которое стоит жизни, и об отце с сыном перед белым нечеловеческим светом.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Часть 1. Полдень в железе	5
Часть 2. Кассандра	10
Конец ознакомительного фрагмента.	14

# Эдуард Сероусов

## Второе солнце

### Часть 1. Полдень в железе

Внутри сферы было тихо так, как бывает тихо только в огромных и совершенно пустых вещах. Глеб слышал собственное дыхание в шлеме, шорох воздуха в магистрали костюма да далёкий, ниже слуха, гул — будто где-то под полом ворочался во сне зверь размером с гору. Это был не зверь. Это были насосы охлаждения, тридцать метров стали и сверхпроводника, державшие в готовности камеру, в которой через девять часов попытаются зажечь то, чего на Земле ещё не было.

Он шёл по нижнему обходному кольцу, светя налобником в стыки. Синий лёд диагностических ламп ложился на изогнутую стену и стекал с неё, как вода. Каждые два метра — датчик, каждый датчик — зелёный. Глеб не верил зелёному. Он верил запасу. Зелёное говорит, что сейчас всё в норме; запас говорит, сколько у тебя есть, прежде чем норма кончится. За двенадцать лет он научился читать второе и не обращать внимания на первое.

Он делал этот обход не потому, что приказали. Автоматика проверяла стыки точнее любого человека и делала это непрерывно. Но автоматика проверяла, исправен ли датчик; человек проверял, исправен ли мир. Это было разное, и за двенадцать лет Глеб видел достаточно случаев, когда исправный датчик честно показывал зелёное ровно до той секунды, в которую переставал существовать вместе с тем, что измерял. Поэтому он ходил сам, ногами, в костюме, и трогал лучом каждый шов, и это была даже не работа, а что-то вроде молитвы человека, который не верит в бога, но твёрдо верит в усталость металла.

У сорок четвёртого узла он остановился.

Не потому, что что-то мигнуло. Ничего не мигало. Просто цифра на наручном планшете была не той, какую он оставил вчера в двадцать два часа. Рабочая уставка контура удержания — то значение, к которому система будет вести поле в момент розжига, — стояла выше. Не катастрофически. На восемь процентов. Ровно настолько, чтобы перешагнуть тонкую красную черту, которую Майя Лернер полтора года назад провела поперёк всех графиков и назвала «порогом необратимости».

Глеб щёлкнул ногтем по кольцу на пальце.

Привычка. Кольцо было дозиметром — старая модель, тонкое титановое колечко с микросхемой, которое начинало стрекотать, если рядом становилось плохо. Сейчас оно молчало. Оно всегда молчало; здесь было чисто. Но он щёлкал по нему ногтем, когда думал, — щёлкал так, как другие грызут карандаш. Кольцо было материно. Он носил его восемь лет и почти никогда не вспоминал, чьё оно, — оно просто было частью руки, как мозоль.

Восемь процентов. На презентации это округлили бы до «незначительно». Глеб знал, что значит незначительно. Незначительно — это когда между «всё хорошо» и «всё кончилось» остаётся ровно столько, чтобы успеть удивиться. Красная черта Лернер была проведена не от трусости и не для перестраховки; он видел расчёты, по которым она шла, и расчёты были чистые. Черта говорила просто: до сюда — управляемо, за сюда — уже нет, и нет необратимо, без второго шанса. Поднять рабочую уставку за эту черту значило зажечь не реактор, который при сбое глушат, а нечто, что при сбое просто продолжится. Кто-то решил, что восемь процентов мощности на презентации важнее этого различия. Глеб даже не угадывал кто. Он знал почерк.

Он открыл журнал изменений. Кто поднял уставку.

Параметр FC-44 / уставка / +8.0% / автор: А. Воронин

Он смотрел на эти буквы дольше, чем нужно. «А. Воронин» — это могло быть двое людей в этом здании. Но младший Воронин не трогал уставок чужого контура без записки, а старший не оставлял записок вообще. Старший просто менял мир и ждал, что мир догонит.

— Конечно, — сказал Глеб вслух, и собственный голос вернулся к нему из шлема плоским и чужим. — Конечно, ты.

Он не злился. Злость он растратил годами раньше, она вышла из него, как тепло из остывающего металла, и осталась холодная точность. Он просто открыл правку, ввёл своё значение — то, что под красной чертой, — и подтвердил. Уставка вернулась на место. Потом он приложил палец к планшету и надиктовал служебную записку — сухую, на двенадцать слов, адресованную смене и продублированную в безопасность: контур FC-44 возвращён под порог Лернер, несанкционированный подъём отклонён, прошу подтверждения.

Двенадцать слов. Он знал, что наутро их сотрут. Он всё равно их написал. Записка была не для того, чтобы её прочли. Записка была для того, чтобы где-то — в журнале, в холодной памяти машины, которая не умеет лгать, — осталась строчка: здесь стоял человек и сказал «нет». Иногда это всё, что инженер может сделать с чужим высокомерием: оставить за собой строчку.

Отец оставлял за собой звёзды. Глеб оставлял за собой строчки в журналах, которые никто не читал. Он давно перестал считать, кто из них прав; он просто делал то, что умел, и тем способом, каким умел, — тихо, точно и до конца. Это и было всё его наследство: не фамилия, не имя в учебниках, а вот эта въевшаяся привычка проверять то, во что другим удобнее верить.

Он закрыл планшет, выпрямился и в последний раз провёл лучом по шву.

Зверь под полом дышал ровно.

«Гелиос» был не государством и не наукой. «Гелиос» был ставкой.

Станция стояла на бетонной ноге в трёх километрах от берега, на отмели, которую двадцать лет назад намыли под рыбный порт, а потом порт не случился, и отмель купил консорциум «Арклайт» — за сумму, которую никто не называл вслух, и под обещание, которое называли все. Обещание было простое, как все большие обещания: бесконечная энергия. Дешевле грязи, чище воды. Звезда в бутылке.

«Арклайт» обещал её уже три года — на конференциях, в проспектах для инвесторов, в коротких роликах, где над синей планетой загоралась золотая точка и голос за кадром говорил «конец дефицита». Конкуренты обещали то же самое и шли на полшага позади: китайский консорциум, два европейских, государственная программа, о которой все знали и молчали. Гонку выигрывал не тот, кто зажжёт надёжнее. И не тот, кто сумеет погасить. Выигрывал тот, кто зажжёт первым. «Арклайт» был первым — на девять часов, на пять, на четыре, — потому что Аркадий Воронин однажды на закрытом совете сказал семь слов, которые потом цитировали как девиз: «Я не умею ждать. Я умею первым». Глеб слышал эту фразу от чужих людей чаще, чем когда-либо слышал от отца хоть что-нибудь лично.

С верхней галереи Глеб видел берег. Светлая Гавань лежала там полукольцом огней — сто шестьдесят тысяч человек, которые легли спать, не зная, что их утро отменили. Город спускался к воде уступами белых домов; ночью он мигал, как присевшая на берег галактика. Между городом и станцией качалась чёрная вода, и по воде шла лунная дорожка, тонкая и кривая. Завтра по этой воде пойдёт другая дорожка. Об этом Глеб ещё не знал — но смотрел на лунную так, будто прощался.

За спиной у него жила станция — последняя мирная ночь «Гелиоса», хотя так её никто не называл. По жилым палубам ходили люди второй смены; в столовой кто-то спорил о футболе; в медотсеке дежурная сестра раскладывала пасьянс; на стендах висели плакаты техники безопасности, которые читали ровно так, как читают плакаты, — то есть никогда. Завтра всё

это попадёт в хронику и станет «персоналом станции в момент инцидента». Сегодня это были просто люди, которые отработали смену и хотели спать. Глеб знал по именам человек сорок из двухсот. Тео — лучше всех. И именно поэтому, стоя у перил над тёмной водой, он чувствовал не гордость, которую полагалось чувствовать накануне розжига, а ту тихую, ноющую настороженность, с какой опытный человек смотрит на слишком счастливую толпу: он один, кажется, помнил, что праздники иногда заканчиваются счётом погибших.

— Красиво, да? — Тео Маркс возник рядом, как всегда возникал: бесшумно и не вовремя. Молодой, на голову ниже Глеба, с лицом, которое ещё не научилось скрывать, что чувствует. Сейчас оно сияло. — Я каждую смену сюда выхожу. Думаю — вот мы стоим, а они там спят, и завтра проснутся в другом мире. И не узнают. Просто будет светлее.

— Светлее будет в любом случае, — сказал Глеб. — Вопрос в том, насколько.

Тео не услышал в этом ничего, кроме шутки. Он засмеялся.

В наушнике у обоих, ровным гладким контральто, шёл обратный отсчёт — не до розжига, до пресс-конференции. Нора Кейн вела станцию по графику, как ведут самолёт по глиссаде: плавно, неотвратно, не оставляя пассажирам ощущения, что что-то решается. Голос объявил, что время первого включения сдвинуто на четыре часа раньше — «по согласованию с инвесторами, для оптимального совпадения с открытием азиатских торгов».

Кто-то однажды сказал Глебу, что у Норы Кейн должность не «директор станции», а «директор графика». Это была шутка, и это была правда. Нора не строила «Гелиос» и не понимала его глубже хорошей презентации; её талант был в другом — превращать «опасно» в «в пределах допусков» и вести всё это к назначенной дате ровно и неотменимо, как ведут к алтарю. И вот дату передвинули ближе. От этого по спине у Глеба прошёл холодок, которому он не сразу нашёл причину. Причина была простая: даты сдвигают вперёд тогда, когда боятся, что если ждать — кто-нибудь успеет сказать «стоп».

Глеб обернулся к динамике, будто тот мог ответить.

Четыре часа. Четыре часа резерва, которые кто-то решил, что не нужны. На графике это было одно движение мышцы. На контуре FC-44 это были те самые проверки, которые он собирался прогнать утром и теперь не прогонит.

— Они сдвинули розжиг, — сказал он. Не Тео — себе.

— Здорово же, — Тео сиял всё ярче, как будто его собственный запас сиял. — Меньше ждать.

Глеб посмотрел на него и не нашёл, что сказать. Парень не знал, что такое запас. Парню было двадцать четыре, и он был лучшим оператором удержания, какого Глеб видел за двенадцать лет, — руки чувствовали поле раньше приборов, голова держала топологию катушек, как другие держат мелодию. И при этом он не знал самого простого: что «меньше ждать» и «меньше проверять» — это одно и то же предложение, прочитанное с разных концов.

— Идём, — сказал Глеб. — Покажешь мне сопряжение на третьем секторе.

— Я как раз хотел показать! — Тео расстегнул нагрудный карман и достал не планшет. Значок. Самодельный: круг латуни с восемью лучами, грубо, но любовно выпиленными, и крошечной точкой посередине. По кромке — выдавленное «ГЕЛИОС». — Сам спаял. В мастерской, ночью. Знаешь, что я подумал? Мы же первые. За всю историю человечества — первые, кто зажёт свою. Не нашли, не открыли — зажгли. Это же навсегда теперь.

Он понизил голос, будто признаваясь в чём-то стыдном:

— Я его, знаешь, зачем такой сделал... Не только ради этого. Я думал — может, доктор Воронин заметит. Спросит, чей. Запомнит, как меня зовут. — Тео смущённо повертел значок в пальцах. — Глупо, да? Мир переворачиваем, а я хочу, чтоб один человек запомнил моё имя. Никому не говорил. Тебе вот сказал.

И, помолчав, тише:

— Мне ведь страшно, Глеб. Не сейчас — ночью. Что я не дотягиваю. Что я тут случайно затесался и однажды это заметят. Я тогда работаю вдвое, чтоб не заметили раньше времени. Ты только не говори никому, ладно?

От значка пахло канифолью и горячим металлом — паяльной гарью, тонкой и сладкой. Глеб смотрел на восемь кривых лучей и думал не «навсегда». Он думал — мальчишка спаял себе солнце и носит его у сердца. И не знает, что солнца не носят у сердца. Их держат на расстоянии вытянутой руки, в железе, под порогом, и всё равно боятся.

— Ты ведь работал с самого начала, — Тео шёл рядом по галерее и говорил быстро, будто боялся, что Глеб уйдёт раньше, чем он успеет всё сказать. — С первой сборки. Я по твоим отчётам по сопряжению учился, честно. И всё думаю — как это: строить такое и не гореть от этого? Ты всегда такой спокойный. А я перед розжигом спать не могу. Лежу и думаю: вот через десять часов я буду в комнате, где зажгут солнце, и я буду одним из тех, кто его держит.

— Спать перед розжигом и не надо, — сказал Глеб. — Перед розжигом надо проверять.

— Доктор Воронин говорит, можно слишком много проверять. Говорит, в какой-то момент проверка — это просто страх, который притворяется работой.

Глеб остановился. Посмотрел на парня — на сияющее лицо, на латунный значок у сердца, на руки, которые чувствовали поле лучше приборов.

— Доктор Воронин много чего говорит, — сказал он без выражения. — Запомни одну вещь, Тео. Когда инженер перестаёт проверять, потому что верит, — он уже не инженер. Он верующий. А верующих в комнате с солнцем быть не должно.

Тео засмеялся, думая, что это снова шутка. Глеб не стал объяснять, что не шутит. Объяснять было нечем — кроме истории, которую он не рассказывал никому.

— Красивый, — сказал он. И это было правдой, и это было всё, что он мог дать.

Они спускались к третьему сектору по технической лестнице, когда внизу, в коридоре безопасности, началось движение.

Двое в форме охраны консорциума шли по галерее, и между ними — невысокая женщина с прямой спиной и седеющими у висков волосами, собранными жёстко, как собирают волосы люди, которым некогда. В руках она несла не планшет — бумаги. Толстую папку распечаток, прижатую к груди обеими руками, будто папка могла попытаться сбежать. Майя Лернер. Соруководитель безопасности «Гелиоса». Точнее — соруководитель до сегодняшнего утра; Глеб понял это по тому, как охрана держала дистанцию: не конвой, но и не сопровождение. Выпровождение.

Она не сопротивлялась. Шла ровно, смотрела прямо. Поравнявшись с лестницей, остановилась — не для них, для охранника, который что-то сказал ей вполголоса, — и в этот момент верхняя распечатка выскользнула из папки и спланировала на пол, к ногам Глеба.

Он наклонился, поднял. Лист был плотный, исчерканный от руки поверх машинного текста. График: время по горизонтали, мощность поля по вертикали. И кривая — гладкая, растущая, без верхнего предела. От неё стрелкой вниз шла надпись, подчеркнутая дважды: «нет состояния „выключено“».

Глеб понял график за полсекунды — он читал такие всю жизнь. Растущая кривая без асимптоты. Величина, у которой нет потолка. В его профессии это был не график, а приговор: всё, что растёт без предела, рано или поздно упирается в предел чужой — в стену, в человека, в город. Он не знал ещё, что именно растёт на этой кривой. Но руки у него похолодели раньше головы — так холодеют у того, кто увидел знакомую беду в незнакомом месте.

Майя протянула руку. Он вложил лист ей в ладонь. На секунду их взгляды встретились — её были сухие и очень усталые, без обиды, без театра, только усталость человека, который слишком долго объяснял очевидное людям, которым удобно не понимать.

— У неё нет состояния «выключено», — сказала Майя. Тихо, не ему — в пространство, как говорят то, что уже сказали сто раз и скажут ещё раз перед тем, как замолчать. — Я показывала трижды. Считать умеют все. Понимать никто не хочет.

Охранник тронул её за локоть. Она пошла дальше, не оглянувшись.

Глеб остался стоять с пустыми руками. Он не знал эту женщину — видел в коридорах, читал её фамилию под предупреждениями, что приходили в общую рассылку и которые он, как и все, проглядывал по диагонали. Сейчас он впервые расслышал в ней не должность, а человека: усталого, точного, проигравшего и знающего, что проиграл. И ещё он расслышал, что её увели не за ошибку. За правоту. Ошибающихся не выводят с охраной за пять часов до триумфа. С охраной выводят тех, кто может в последний момент сказать вслух то, чего слышать нельзя.

Тео смотрел ей вслед с лёгким недоумением, как смотрят на человека, который не вписался в общий праздник.

— Это которая всё «стоп, стоп»? — сказал он. — Доктор Воронин говорит, она хороший физик, просто боится. Говорит, без таких нельзя, но и слушать их нельзя, а то ничего не зажжёшь.

— Угу, — сказал Глеб.

Он смотрел не на Майю. Он смотрел на дверь, за которой её увели, и думал о двух вещах сразу, и обе ему не нравились. Первая: женщину, которая полтора года провела красную черту поперёк его контура, спокойно выводят со станции за девять — нет, за пять — часов до розжига. Вторая: где-то наверху уже лежит его двенадцатисловная записка, и кто-то уже занёс палец, чтобы её стереть.

Он ошибался только в сроке. Записку не стёрли наутро. Стёрли через сорок минут — а ещё через десять его вызвали «наверх».

## Часть 2. Кассандра

Стол в зале совещаний был из настоящего камня — тёмный, с белыми прожилками, тяжёлый, как доказательство платёжеспособности. Майя положила на него ладонь, и камень был холодным, и эта чужая, гладкая холодность под рукой почему-то злила её больше всего остального.

Их было семеро по ту сторону. Трое — лица консорциума, по видеосвязи, прямоугольники на стене, в которых сидели люди, никогда не бывавшие на станции и не собиравшиеся. Двое — техническое руководство. Аркадий — во главе, хотя формально председательствовала Нора. И сама Нора Кейн — справа от Аркадия, безупречная, в сером, с тем выражением профессиональной теплоты, которое надевают, как надевают перчатки: чтобы не запачкать руки.

Майя пришла с бумагой, потому что бумагу нельзя тихо отредактировать в облаке задним числом. Она выложила три листа в ряд.

— Я не буду повторять то, что вы читали, — сказала она. — Я повторю то, что вы прочли и решили не понять.

— Доктор Лернер, — мягко начала Нора.

— Лист первый. — Майя не повысила голос; она просто продолжила, и это было сильнее, чем повысить. — Самоармирующаяся решётка работает на положительной обратной связи. Ток рождает поле, поле улучшает удержание, удержание поднимает давление, давление рождает ток. Это и есть прорыв. Это и есть то, чем вы будете хвастаться через четыре часа. Но у положительной обратной связи, господи, нет нуля. Она существует только выше порога. И — вот лист второй — выше порога её нельзя выключить. Снять питание бессмысленно: она питает себя. Это не реактор, который глушат. Это не костёр, который заливают. Это то, что горит за счёт того, что горит.

— У нас есть аварийный сброс, — сказал один из прямоугольников. — Нам показывали протокол.

— Ваш аварийный сброс снимает внешнее питание. — Майя посмотрела прямо в камеру, в человека, которого там не было. — Вы выдёргиваете шнур из стены и думаете, что выключили солнце. Лист третий. — Она положила палец на третью кривую, ту самую, что сегодня уронила к ногам незнакомого инженера в коридоре. — Если решётка загорится в неуправляемом режиме, она не остановится. Она будет расти. Поле расширится, захватит вещество вокруг, ионизирует его, втянет внутрь как топливо, вырастет ещё, захватит больше. Я считала это три раза, тремя методами. Каждый раз получается одно. Часы. Может быть, сутки. А потом — регион.

Тишина была короткой и плотной.

— Это, — сказала Нора, поправляя манжету на левом запястье — мелкий, аккуратный жест, — в пределах допусков, доктор Лернер. Вероятность неуправляемого розжига оценена. Она ниже порога, на котором мы останавливаем программу.

— Кем оценена?

— Группой удержания. Доктором Ворониным.

Майя повернулась к Аркадию.

Он сидел, чуть откинувшись, и смотрел не на неё. Он смотрел в широкое окно за её спиной — на отражение зала в тёмном стекле, на собственное отражение, может быть, или на отсвет ламп. Он почти никогда не смотрел в глаза собеседнику в споре; Майя думала раньше, что это высокомерие, и только много позже поняла, что это другое. Это человек, который не выносит смотреть в лицо тому, что говорит.

— Аркадий, — сказала она. — Ты считал вероятность срыва на номинальных параметрах. Я считала, что будет, если срыв всё-таки случится. Это два разных вопроса. Ты отвечаешь

на «вряд ли». Я задаю «а если». В безопасности отвечают на «а если». Всегда. Иначе это не безопасность, это реклама.

Аркадий улыбнулся — в стекло, не ей.

— Майя, — сказал он, и голос у него был тёплый, ровный, тот голос, которым он за двадцать лет уговорил инвесторов, министерства и саму физику. — Ты прекрасный физик. Лучший, кого я знаю по части того, что может пойти не так. Но история не движется людьми, которые считают, что может пойти не так. История движется теми, кто считает, что может пойти. Прогресс не голосует, Майя. Он случается. И он случается завтра. Сегодня. Через четыре часа.

— Прогресс закапывает своих, — сказала Майя. — А потом ставит им памятник и называет это неизбежностью.

Что-то прошло по его лицу. Очень быстро. Она знала это что-то — она видела его один раз раньше, восемь лет назад, в коридоре, где другой человек говорил с ним так же прямо, и где этот человек был ещё жив. Но оно прошло, и осталась улыбка.

— Дайте мне сорок восемь часов, — сказала Майя, и это было унижительно: она слышала, как унижительно звучит, и всё равно просила, потому что за стеклом был город. — Не отмену. Отсрочку. Один независимый прогон срыва — не моей группой, любой, какую назовёте. Ошиблась я — вы потеряете двое суток и капитализацию на двое суток. Права — вы не зажжёте то, что нельзя потушить. Сорок восемь часов против региона. Это плохая сделка для меня и хорошая для вас.

Прямоугольники на стене молчали. Один — тот, что спрашивал про аварийный сброс, — посмотрел куда-то вбок, на свои часы или на другой экран, и Майя поняла, что проиграла, ещё прежде, чем Нора открыла рот. Она проиграла не аргументом. Аргумент был безупречен. Она проиграла тем, что сорок восемь часов стоили денег прямо сейчас, а регион стоил денег потом, и комната была устроена так, чтобы видеть только «сейчас». Календарь не переспоришь.

— Доктор Лернер, — сказала Нора, и в её гладком голосе появилась окончательность, мягкая, как закрывающаяся дверь хорошего сейфа. — Консорциум благодарит вас за вклад в программу безопасности «Гелиоса». Ваш контракт как соруководителя завершается сегодняшним числом. Доступ к оперативным системам будет переоформлен. Вас проводят.

Майя посмотрела на свои три листа на чёрном камне.

Она могла сказать ещё многое. Она знала каждое слово, она писала эти слова полтора года. Но она вдруг очень ясно поняла, что слов больше нет — не у неё, у комнаты. Комната исчерпала способность слышать ещё до того, как Майя вошла. Она пришла говорить с людьми, а застала процедуру, и процедуры не переубеждают.

Она собрала листы. Один не дался — присох уголком к холодному камню. Она отлепила его и вышла, и за спиной уже зазвучал ровный голос Норы, переходящий к следующему пункту повестки, как вода смыкается над брошенным камнем.

Розжиг вели из главного контроля, и Майю туда не пустили — но не выгнали со станции до вечера, по чьему-то недосмотру или из вежливости, и она нашла себе место в боковом наблюдательном отсеке, у инженеров второго эшелона, которым было не до неё. Она стояла у стекла с пустыми руками — папку забрали на КПП, оставили ей только то, что в карманах, — и смотрела, как обратный отсчёт тает на большом табло.

Она знала каждый шаг протокола наизусть. Поэтому она знала и тот шаг, которого в протоколе не было.

Розжиг решётки требовал последовательного снятия каскада предохранителей — четырёх блокировок, каждая со своим ключом, каждая придумана, чтобы какой-нибудь один человек в какой-нибудь один момент не мог в одиночку зажечь звезду. Четвёртая блокировка была её. Она поставила её сама полтора года назад: программный замок, который не давал вывести

контур выше красной черты, пока два независимых оператора безопасности не подтвердят, что понимают, что делают. Замок Лернер. Его нельзя было снять штатно. Его можно было только обойти — вручную, через инженерный интерфейс к самому ядру решётки, через ту единственную дверь, которую Аркадий построил для себя и назвал нейтрально: `override`.

Майя думала об этой двери. Она думала о ней с того дня, как узнала, что Аркадий её построил, — об этой единственной ручной перемычке к самому сердцу решётки, в обход всех замков, всех подтверждений, всех людей. Аркадий называл её страховкой инженера: если автоматика сойдёт с ума, человек должен иметь возможность вмешаться руками. Это звучало разумно. Это и было разумно — ровно до того дня, когда тот же человек захочет руками обойти не сошедшую с ума автоматику, а трезвую, исправную, говорящую «нет». Дверь, прорубленную, чтобы спасти, прорубают и для того, чтобы зажигать; у двери нет мнения о том, ради чего её открыли. Майя знала, что прямо сейчас, в главном контроле, чьи-то руки — она даже знала чьи — ложатся на эту перемычку и снимают последний замок, её замок, и что в журнале это останется одной строкой с одной фамилией. Восемь лет назад через ту же дверь уже снимали блокировку. Тогда тоже осталась одна строка. Майя помнила фамилию в той строке. Фамилия была неправильная.

На табло отсчёт дошёл до нуля.

Свет в окне стал ярче мысли.

Это нельзя было назвать вспышкой. Вспышка — это то, что начинается и кончается. Это началось и не кончилось. За толстым тонированным стеклом, над морем, в трёх километрах, родилась точка — белая сверх всякой белизны, белая так, что глаз отказывался признать в ней цвет и видел просто дыру в мире, прожжённую насквозь. Отсек, где стояла Майя, залило резким светом без полутонов; всё стало плоским, как чертёж, тени под ногами людей метнулись, сжались — и исчезли. Просто исчезли. В отсеке, освещённом теперь двумя источниками сразу, потолочными лампами и тем, что снаружи, тени некуда было лечь.

В наушниках второго эшелона грянула овация главного контроля — крик, аплодисменты, чей-то срывающийся голос: «есть розжиг, есть удержание, поле штатное, поле штатное!» Кто-то рядом с Майей плакал и смеялся одновременно. Кто-то обнимался.

Майя не отрывала глаз от одного маленького экрана в углу — старого, диагностического, который инженеры второго эшелона держали для себя и про который наверху, в эйфории, забыли. На экране шла одна зелёная линия. Мощность самоподдерживающегося поля. После розжига, когда внешний нагрев отключают, эта линия должна была дрогнуть — клонуть вниз, показывая, что поле живёт уже само, на собственном токе, и ищет равновесие.

Линия не клонула.

Внешний нагрев отключили — Майя видела это по соседнему графику, видела, как упала подводимая мощность, как обнулилась, — а зелёная линия удержания не дрогнула. Не клонула, не качнулась, не пошла к равновесию. Она держалась ровно. А потом, очень медленно, так медленно, что в первую секунду можно было принять это за дрожание прибора, — пошла вверх.

Без питания. Само.

Майя стояла в комнате, полной счастливых людей, и чувствовала, как пот, выступивший на спине, остывает мгновенно, до озноба. Овация в наушнике гремела. На большом экране в главном контроле, она знала, сейчас горят красивые цифры — мощность, температура, давление, всё штатное, всё в зелёном, всё именно так, как обещано. Все смотрели на красивые цифры. Никто не смотрел на маленькую зелёную линию, которая росла без причины.

Это была самая одинокая минута в её жизни — стоять в комнате, где двести человек празднуют рождение того, что их убьёт, и быть единственной, кто это видит, и знать, что сказать уже некому: те, кто мог бы услышать, заняты тем, что обнимаются. Кассандре, думала Майя, никогда не верили не потому, что она ошибалась. Ей не верили потому, что верить ей

было невыносимо. Гораздо легче считать пророчицу сумасшедшей, чем признать, что Троя уже горит.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.